



Э. Л. МИНДЛИН

Необыкновенные собеседники

<Фрагменты>

Первое «видение» Волошина ошеломило меня. На солнечной площади Феодосии между старинной генуэзской башней и кафе «Фонтанчик» я увидел неправдоподобно рыжебородого человека. Легкой поступью плясуна и с достоинством посла великой державы он нес тяжесть огромной плоти. Серый бархатный берет, оттянутый к затылку, умирял длинные своенравные волосы — пепельно-рыжеватые. На нем был костюм серого бархата — куртка с отложным воротником и короткие, до колен, штаны — испанский гранд в пенсне русского земского врача, с головой древнего грека с голыми коричневыми икрами бакинского грузчика и в сандалиях на босу ногу. Он был необыкновенен на площади, забитой деникинскими офицерши, греческими и итальянскими матросами, суетливыми спекулянтами, испуганными беженцами с севера, медлительными турками с фелюг и смуглыми феодосийскими барышнями! Он был так удивителен в этой толпе, что я сразу понял: вот это и есть знаменитый Максимилиан Волошин!

<...> ...Я один стоял и смотрел ему вслед. И потом, когда он исчез, а меня совсем затолкали, я ушел в тень генуэзской башни и все еще мысленно говорил себе: «Так вот он каков, этот Максимилиан Волошин!»

<...>

Во «Флаке» я и познакомился с Максимилианом Волошиным. Он был в черном пальто поверх костюма с брюками до колен и в толстых чулках, в синем берете. Это произошло днем в полутемном подвале, когда столики были сдвинуты в сторону, а в части подвала, свободной от столиков, собрались «свои» — поэты, художники, и среди них Мандельштам.

— Ну, разумеется! Мандельштам нелеп, как настоящий поэт!

Это была первая услышанная мною фраза Волошина, с которой он спустился в подвал. Он произнес ее в присутствии тотчас вскинувшего голову

Осипа Мандельштама. Оказалось, Волошин не дождался Мандельштама в условленном месте и хорошо, что догадался зайти в подвал.

Фразу о нелепости Мандельштама, как настоящего (иногда говорилось «подлинного») поэта, я слышал от Волошина много раз, так же как и то, что «подлинный поэт непременно нелеп, не может не быть нелеп!».

Сам Максимилиан Александрович Волошин был поэт подлинный, очень большого таланта, огромной поэтической культуры, глубоких и обширных знаний, четких пристрастий и антипатий в искусстве. Но вот уже в ком не было ничего «нелепого»! И это несмотря на все своеобразие его внешности, на вызывающую экстравагантность наряда, на всегдашнюю неожиданность его высказываний и поступков. Нелепость предполагает необдуманность, несоразмерность, нерасчетливость. В Максимилиане Волошине было много необычного, иногда ошеломляющего, но все обдуманно и вот именно лепо!

Лепой была и его склонность эпатировать — поражать, удивлять. «Пур эпате ле буржуа»* было выражением, которое в его устах звучало почти программно. Он готов был собственными руками рушить созданные буржуа дурного вкуса произведения искусства. Но дальше эпатации буржуа его буйство в искусстве не шло. <...>

Мандельштам уверял, что и «христианство» Максимилиана Волошина будто бы тоже от его всегдашней потребности эпатировать. Мол, Волошину в себе самом нравится то, что он — христианин, он вообще нравится самому себе. «Хорошо быть Максимилианом Волошиным мне...» Но увлечение христианской философией у Волошина возникло задолго до того, как это увлечение могло бы эпатировать среду, в которой Волошин вращался, — до революции. Это увлечение отнюдь не шло против течения в среде, близкой Волошину.

Но что этот эрудит, христианин-философ всерьез относился к отнюдь не христианским приметам и верил в их действенность так же сосредоточенно, как и в постулаты христианства, — я убедился однажды на опыте. Он встретил меня на верхней улице в Феодосии и, увидев, что я иду на встречу ему с двумя ведрами, наполненными водой, весь как-то сразу от удовольствия просветлел. Воду для дома мы набирали тогда с уличной водопроводной колонки. Я смутился, представ перед Волошиным водоносом. Но Волошин был чуть ли не благодарен мне. Он принялся объяснять, что встреча с несущим полные ведра — проверенная примета и сулит удачу в делах. Когда, неуверенный, не разыгрывает ли меня Волошин, я отпустил какую-то шутку насчет суеверий, Волошин назидательно и очень серьезно предостерег от пренебрежения к «разуму недоступным вещам». Приметы для него были явлениями непознаваемого, «недоступного разуму мира»...

* «Эпатировать мещан (буржуа)» (фр.).

Волошин любил не только эпатировать. Он был прирожденным мистификатором. <...>

Если верить Осипу Мандельштаму, то и вера в приметы была вызвана у Волошина потребностью мистифицировать собеседников, эпатировать их...

<...>

Максимилиан Волошин в пору гражданской войны говорил о себе: — Я над схваткой.

Не только в России, и на Западе многие, даже выдающиеся интеллигенты, считали позицию «над схваткой» принципиальной и единственно достойной творца культуры. Вспомним, что даже Ромен Роллан назвал одну из своих книг «Над схваткой»¹. Конечно, разновелики фигуры Роллана и Волошина, но честность с собой и того и другого художника закономерно привела к разочарованию в первоначально избранной и казавшейся достойной позиции «над схваткой». Для Волошина этот путь животворного разочарования был медлителен, полон смущений и колебаний. И я еще расскажу в дальнейшем, как и что побудило его усомниться в правильности дорогой ему позиции «поверх барьеров». Когда я только познакомился с ним, сомнения эти еще не одолевали его. Он еще гордился тем, что «молится за тех и других».

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других².

И «те» и «другие», и белые и красные для него прежде всего русские, *его* русские люди. Он молился и за тех и за других, как молился за Россию, за *свою* Россию. В политической борьбе он не помогал ни тем, ни другим. Но как отдельным людям — и тем и другим, — помогал в защите, в спасении одних от других.

И гордился тем, что под его кровлей спасались и укрывались от преследований противника в равной мере —

...и красный вождь, и белый офицер³.

В разгар гражданской войны, в дни, когда Феодосия бывала занята красными, он спасал и прятал на своей даче отдельных офицеров-белогвардейцев, которым грозила смерть. Он прятал и спасал их не как своих единомышленников, которыми не признавал ни тех, ни других, а как людей. И еще больше и чаще ему приходилось так же спасать и прятать у себя красных во время белого террора в Крыму. Об этом хорошо напо-

минает надпись писателя-большевика Всеволода Вишневского на его книге «Первая Кронная». <...>

«Максимилиану Александровичу Волошину! С доброй памятью о Вас шлю Вам эту книгу, где показаны мы, которым в 1918–20 гг. Вы оказали смелую помощь в своем Коктебеле, не боясь белых.

Вс. Вишневский».

В дни крымской белогвардейщины он и в моем присутствии множество раз беседовал с подпольщиками-коммунистами (с будущим председателем Ревкома в Феодосии Жеребиным и с будущим членом Ревкома Звонаревым) и едва ли не понимал, что беседует с теми, кто ждет прихода Красной армии.

Да и эти собеседники его с большим доверием относились к нему. Люди, о которых после освобождения Крыма стало известно, что в тылу у белых они действовали как законспирированные коммунисты, еще при господстве белых разговаривали с Волошиным, во всяком случае, не тая своих жестких к ним антипатий. А ведь в ту пору и в той обстановке высказывать такие антипатии можно было только в присутствии человека, вызывающего к себе полное доверие. Но Волошин, несмотря на его позицию «над схваткой», был в глазах подпольщиков-коммунистов именно таким человеком.

В 1919 году он писал Бунину из своего Коктебеля: «Я живу здесь с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят как на большевистские».

Белые не были ему любопытны — в них не было ничего загадочного, непонятного.

Красные оставались для Максимилиана Волошина загадочными.

Я видел, как он присматривался к ним в Феодосийском Народном университете. Университет открыли почти тотчас после освобождения Крыма. Ректор его был Викентий Викентьевич Вересаев, проректором Д. Д. Благой. Максимилиан Волошин с первого дня жизни университета начал читать в нем курс лекций по истории искусства Италии и Голландии⁴. Даже открылся этот университет лекцией Максимилиана Волошина.

Разместился Народный университет во втором этаже старинного дома по Итальянской улице, вход был открыт для всех, и длинный зал салатного цвета с потемневшим лепным потолком был переполнен слушателями в шинелях и гимнастерках с красноармейскими шлемами на коленях. Волошин читал им о возрожденцах — о Микеланджело и Леонардо да Винчи, а они еще дух не успели перевести после последних боев за Крым.

Волошин сидел перед ними за столиком, забросив за спинку стула правую руку, а левой, согнутой в локте, подпирал свою огромную рыжую голову. Он сидел в своем серо-зеленом костюме средиземноморского странника, в коротких, по колена, штанах, в чулках и сквозь поблескивающие

стекла пенсне на черной тесьме с любопытством и удивлением рассматривал полных внимания слушателей. Он удивлялся, что они его слушают. *Они* — и вдруг слушают о Леонардо да Винчи! Им — и вдруг интересен Микеланджело! Он не мог не чувствовать их внимания, их жажды познать, понять. Вдруг наступали паузы. Волошин замолкал на минуту, и слегка сощуренные серые глаза его пытливо всматривались в небритые и обветренные в боях лица его «студентов». Ни шевеленья не слышалось во время этих внезапных пауз. Стороны изучали друг друга — Волошин и красноармейцы. Не только красноармейцы слушали Максимилиана Волошина. В этот вечер Волошин сам слушал, как слушают красноармейцы о Леонардо да Винчи. Он открывал для себя еще не познанный им мир новых людей.

Он уходил из университета в тот вечер смущенным, сосредоточенным, был вовсе не так общителен, как обычно, и явно хотел остаться наедине с собой.

У него много стихов о России. Ему всегда казалось — он знает свою Россию, понимает ее. В этот вечер он впервые встретился с незнакомой ему Россией. Возможно, ему было бы все понятней, все легче, все проще, если бы убедился, что красноармейцам ни к чему его Леонардо да Винчи, если бы зал во время его лекции пустовал, если бы слушатели его зевали. Он вовсе не был бы в обиде на них. Ничего другого от них он не ожидал. Может быть, он только затем и согласился читать свои лекции о возрожденцах, чтобы на слушателях проверить: что это еще за такая Россия, Россия красных? И проверил. И после лекции ушел в темень под гемуэзские колоннады феодосийских улиц, озадаченный, дивясь и слушателям в красноармейских шинелях, и самому себе.

<...>

И все же белых он сторонился, а красным он помогал. И с красными он работал. Он немало сделал для советского Крыма. Недаром Луначарский, хорошо знавший его недавнюю еще позицию «над схваткой», знавший и силу, и слабость Максимилиана Волошина, так настойчиво звал его в Москву для работы. И хотя Волошин трудно и медленно оставлял свою позицию «над схваткой», он своими огромными знаниями, мастерским своим умением рассказывать о прекрасном, своим участием в собирании произведений искусства для музеев и в создании этих музеев был и любезен, и полезен своему народу. И, что бы ни говорили о нем, нам есть чем вспомнить и уважительно помянуть поэта, живописца, человека и чудака — одного из тех добрых и талантливых чудаков, которые странностями своими всегда украшали Россию.

